

Владимир Скребицкий

Вспомним обаятельного человека

Я познакомился с Александром Моисеевичем Пятигорским в квартире Андрея и Людмилы Сергеевых на Малой Филёвской, дом 16, кв. 46, в 1966 году. Он был высокого роста, лет, стало быть, тридцати семи, сильно лысоватый и очень оживлённый. В лице его почудилось мне что-то совсем не еврейское (как он меня потом убеждал), а скорее что-то индусское (не зря впоследствии в фильме Йоселиани он играл индусского раджу); у него было небольшое косоглазие, которое создавало впечатление, что глаза глядят немного в разные стороны, придавая лицу лукавое и игривое выражение. Он сразу же начал проявлять ко мне интерес (как, впрочем, я быстро убедился, ко всем новым людям, появлявшимся в этом доме), и вскоре я услышал: «Как, милый Володя, вы и вправду так думаете?», на что Люда с облегчением сказала: «Ну, наконец-то и вы стали «милый Володя», а то уж я как-то забеспокоилась». Это прелестное обращение превратилось у нас в своего рода пароль, и сейчас, по прошествии больше пятидесяти лет, я звоню Людмиле Георгиевне и говорю: «Милая Людочка...», а она мне отвечает: «Ах, это вы, милый Володя». Впрочем, был ещё «мой дорогой». «Ах, мой дорогой, — говорил он, например, Андрею, — мне сегодня совсем не до шуток», а глаза лукаво глядели в разные стороны.

Он был один из самых умных людей, которых я встречал в своей жизни. Кто-то заметил, что очень трудно определить, что такое «умный человек», но можно поговорить с человеком три минуты и сказать: «А ведь он дурак». Про Сашу можно было сразу сказать только то, что он очень общителен, всегда готов подхватить любую тему, высказывая суждения порой спорные и парадоксальные. Но, вспоминая эти разговоры, мысленно возвращаясь к его суждениям, я всегда думал: «Нет уж, что-то, а умён».

Ему было присуще очень редко встречающееся качество: интерес к другому человеку. Вообще-то, большинство из нас интересуются только самими собой. Бывало, хочешь кому-нибудь пожаловаться на здоровье и, когда говоришь, чувствуешь сочувствие и понимание, но как только замолкаешь, ожидая участия и совета, слышишь: «Да, а вот у меня...». И так во всём.

Саша действительно интересовался другим человеком: слушал внимательно, вникал в детали, никогда не говорил: «а вот я», наоборот, как бы совсем забывал про себя, задумывался, замолкал, качая головой, так что ты понимал: то, что

Об авторе | Владимир Георгиевич Скребицкий родился в Москве в 1934 году. Профессор, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией Научного центра неврологии. Автор четырёх сборников рассказов, книги «Георгий Алексеевич Скребицкий» (совместно с О.Д. Трушиным) и романа «Вокруг чайного стола». Живёт в Москве. Предыдущая публикация в нашем журнале — «Долгоиграющие пластинки» (№ 4 за 2019 год).

говоришь, не пустяки какие-то, а нечто важное и серьёзное. Случалось и так, что, спустя несколько дней, он говорил мне (или кому-нибудь другому): «А вы знаете, мой дорогой, я вот всё время думал над тем, что вы тогда сказали, ведь это на самом деле страшно интересно...». «Господи, да что же я тогда сказал?» — судорожно вспоминал я (или кто-нибудь другой). Но, как бы там ни было, у того, к кому были обращены эти слова, неизменно возникало чувство собственной значительности. Бывало, правда, что в этом проскальзывала некая ирония, некая смесь серьёзности и игры, но такой уж он был человек, этот «милый Саша».

Напоминаю, что это были шестидесятые и начало семидесятых годов. В доме у Сергеевых тогда перебивало много интересных людей. Например, к ним приезжал и жил у них Иосиф Бродский. Надо сказать, что Андрияша Сергеев — блестящий переводчик, который открыл нам Роберта Фроста и Томаса Эллиота, впоследствии прозаик, получивший русского Букера за роман «Альбом для марок», никогда ни о ком лишнего доброго слова не говорил, за что получил от Марии Васильевны Розановой (Синявской) прозвище Собакевич, которым гордился. Но его отношение к Иосифу, так же как и того к нему, было проникнуто симпатией, а когда речь касалась поэзии, то и восторгом. Я не буду говорить об этом подробно, поскольку Людя Сергеева в своей прекрасной книге «Жизнь оказалась длинной» подробно рассказала нам о жизни на Малой Филёвской в этот период.

И поскольку все сейчас о Бродском что-нибудь вспоминают, то и мне хочется добавить своё, личное. Это было в январе 1968 года. Мы с моей подругой Идочкой Крейнгольд приехали в Ленинград и были в гостях у Ромаса и Эли Катилусов, друживших с Бродским. В какой-то момент пришёл и он сам, раздражённый и в плохом настроении (очевидно, какие-то очередные проблемы с Мариной Басмановой). Тем не менее он вызвался читать стихи, и мы сидели в какой-то большой комнате, может быть, это была кухня, и некоторые из нас (в частности он, Ида и я) почему-то на столе. Прочитав некоторые стихи своим неподражаемым голосом, он спросил: «Ну что ещё прочесть?» Я назвал стихотворение. «А почему, это?» — сказал он с каким-то вызовом. «Потому что оно мне нравится». «А ты знаешь, о ком идёт речь?» «Нет» — «О Лермонтове». И прочёл эти прекрасные стихи.

Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.

Всё это к Пятигорскому не имеет никакого отношения, но когда мне ещё представится случай вспомнить, как мы с Идочкой сидели на столе у Катилусов: Бродский читал стихи, а на ней было серое вязаное платье, про которое она говорила, что связала его сама...

Пятигорский был человек остроумный и с большой самоиронией. Помню, как-то речь зашла о Карле Марксе, уж не помню в какой связи. «Вы понимаете, мой дорогой, — сказал он. — Карл Маркс был типичный еврейский нахал. Есть такой тип человека — еврейский нахал. Вот я, например. Я — типичный еврейский нахал», — сказал он, похохатывая, а глаза глядели лукаво в разные стороны.

У него была в то время милая молодая жена Таня, которой он запудрил мозги буддизмом и индуизмом, так что она смотрела ему в рот и читала сутры. Забегая вперёд, скажу, что потом, когда они разошлись, она перешла в истинную веру, воцерковилась и стала доброй прихожанкой православной церкви. У них было два мальчика — Максим и Илья. С Максимом я был знаком мало, а Илью

встретил, лет двадцать спустя, в Лондоне и был поражён тем, как он похож на Сашу, причём на Сашу совсем молодого, которого я не знал, но мог себе легко представить по внешнему сходству и очаровательной игривой манере держаться.

Я как-то легкомысленно сказал «загудрил мозги буддизмом». На самом деле, для Пятигорского буддизм и индуизм были очень серьёзными темами. Он не просто знал эти учения (как научный сотрудник Института востоковедения, где работал), они глубоко проникли в его менталитет, стали сущностью его мировосприятия. Мне крупно повезло, так как в какой-то период он читал лекции специально для меня, в моей квартире на улице Черняховского, 4 (наверно, тогда это была Вторая Аэропортовская, 7/15). Конечно, я был только предлогом, «условным слушателем», на ком он отрабатывал курс, который собирался читать. Всего-то этих лекций было три–четыре, но я очень хорошо запомнил не столько их содержание, сколько обстановку, в которой всё это происходило: Саша ходил большими шагами по комнате; и в помине не было ни лукавства, ни игривости — он был абсолютно серьёзен, сконцентрирован на предмете, который излагал. Порой он останавливался, мимикой и жестами подчёркивая важность какой-то мысли, которую хотел донести: «Вы понимаете, в индуизме очень большое значение имеет это деепричастие, ДУМАЯ ТАК...». То есть не так важно, насколько можно объективно доказать правильность вашего суждения — это я уж от себя — но ДУМАЯ ТАК, вы правильно себя психологически ориентируете, вы на правильном пути... Нет, я ни в какой мере не буду пытаться изложить его рассуждения (жаль, что не записал их тогда на магнитофон). Эти рассуждения наверняка можно найти в его статьях и книгах, а некоторые лекции, прочитанные двадцать лет спустя, — в интернете, но эти красочные сцены, когда он ходил по комнате, как тигр в клетке, жестами и артикуляцией стараясь донести до аудитории свои мысли, у меня перед глазами. Конечно, была во всём этом какая-то игра, какая-то театральность, но какой же хороший лектор — не актёр?

Пятигорский рассказывал мне содержание одной из основных книг индуизма: «Бхагавадгиты». (Впоследствии я достал её, и на какое-то время она стала моей настольной книгой). Две рати стоят друг против друга, готовясь к сражению. Эти рати — эндогенные кланы, в которых перемешаны родственники, учителя, ученики и друзья. Наутро им предстоит кровавое сражение. И вот предводитель одной из ратей Арджуна объезжает на колеснице своё войско, чтобы проверить, насколько оно готово к битве. А возница этой колесницы — бог Кришна. Арджуна полон мрачных мыслей. Он понимает, что совсем скоро ему придётся убивать своих братьев, друзей и наставников. Его охватывает отчаяние. Он останавливает колесницу и говорит, что отказывается сражаться.

Кришна убеждает Арджуну сражаться такими словами: «Если ты не вступишь в этот праведный бой, то, покинув свою дхарму, ты примешь на себя грех. И все будут говорить о твоём вечном бесчестии, а славному бесчестие хуже смерти. Великие витязи подумают, что ты из-за страха отказался от битвы; и, бывши для них почтенным, ты станешь презренным. Убитый ты достигнешь неба, живой ты насладишься землёй: поэтому встань и решишь на битву». («Бхагавадгита», 1956. Перевод Б.Л. Смирнова).

Понятие «Дхарма» здесь очень важно: это и долг, и судьба, и предназначение. Пятигорский говорил, что в каком-то тексте прочёл, что «лучше умереть в своей дхарме, чем жить в чужой».

Я, разумеется, не собираюсь пересказывать содержание этого великого текста. Вспомню лишь, что, когда лекция была закончена и мы направились в кухню пить чай, Саша повеселел и сказал, улыбаясь и подмигивая: «А вы знаете, мой дорогой, из-за чего вся эта битва-то произошла? Да из-за бабы какой-то, конечно». Как тут не вспомнить: «...Куда плывёте вы? Когда бы не Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер — всё движется любовью...»

В 1968 году в разговорах начала появляться некая молодая машинистка, которая не только печатала Сашины тексты, но читала и восторгалась ими. Много ли надо мужчине, чтобы увлечься женщиной? Много ли надо женщине, чтобы увлечь мужчину? Некоторые по привычке считают, что это — через желудок, другие покупают рубашки и галстуки — всё это работает слабо. Успеха достигают те, которые находят или натываются на неудовлетворённое тщеславие и начинают лить воду на эту мельницу. А для Саши Пятигорского создание текстов, устных или письменных, имело огромное значение, и молодая женщина, которая не только печатала эти тексты, но ещё и восторгалась ими, была без промаха, может быть, сама того не сознавая, в эту большую и привлекательную цель.

Пятигорский исчез. Он перестал появляться в квартире 16 дома 46 на Малой Филёвской, а может быть, и вообще в этом доме, перестал мне звонить, так что его как будто больше не стало. У Набокова в «Лолите» есть такая глава: «Dolores disparu». Вот так и наш милый Саша взял и disparu.

Потом, как мне впоследствии рассказывала Люда Сергеева, он объявился и сообщил, что снимает комнату неподалёку от прежнего жилья. В моей жизни он возродился где-то в районе метро «Водный стадион», где снимал небольшую, кажется, двухкомнатную квартирку с молодой прелестной женой Элей, которая, разумеется, была его машинисткой. Я на своей «Волге» подхватывал их, мы доезжали до какого-то скверика и прогуливались. (Понятия «парковка» тогда не существовало: где остановишься, там и стоишь.) Я хорошо помню эту картину: Саша в какой-то старой куртке с книжкой в кармане и берете (одежде своей он никогда не придавал большого значения, но, тем не менее, всегда выглядел по-своему элегантно) и рядом Элочка в лёгком пальтишке и в туфлях без каблуков. Он держит её под руку, немного склоняясь к ней, и говорит печально и задумчиво: «Родная, обрати внимание на то, как уже облетела листва». И в этой картине я чувствовал некую законченность: вот пожилой гуру, который на склоне лет обрёл свою юность. Ясно, что это последняя любовь, в которой нашло покой мятущееся сердце, его тихая гавань, его вечерний свет... И когда лет через двадцать мне случилось наблюдать его отношения со следующей молодой женой, меня не покидало ощущение *deja vu*.

В эту пору, или немного раньше, я открыл в Саше ещё одну совершенно для меня неожиданную способность: он оказался прекрасным кулинаром. Однажды (это была весна 1967 года) на глухарином току я случайно застрелил глухарку. Подчёркиваю, что случайно, потому что для охотника это большой грех, но так получилось. Я привёз птицу домой, и Саша вызвался её приготовить, сказав, что приготовление дичи — это его хобби. Сначала он велел, чтобы я сутки вымачивал птицу, потом приехал ко мне и началось священнодействие: он без конца поливал её маслом, посыпал какими-то травами, произносил заклинания, поливал красным вином, снова посыпал травами... Потом мы выложили глухарку на большое блюдо и за один раз съели её, запивая красным вином. Мне кажется, что никогда в жизни я не ел ничего более вкусного. Мы проигнорировали вилки и ножи, потому что Саша сказал, что читал где-то, что даже «принцессы крови» не стеснялись есть хорошо приготовленную дичь пальцами. Домработница Зина, которая досталась мне в наследство от отца, очень не одобрила эту трапезу. «Сколько масла перевели! — говорила она с возмущением. — Я бы тебе эту индейку сварила, и ты бы её ел с вермишелью целую неделю». Но судьбе было угодно иначе!

Сколько разных людей перебивало в доме на «Водном стадионе». (Я буду так условно называть это место, поскольку не помню точного адреса. Может быть, кто-нибудь вспомнит и подскажет). Эля жаловалась, что Саша взял за привычку приводить туда студентов после лекций, и ей приходилось чистить кар-

тошку, чтобы их кормить. Бывали там и очень интересные люди. Однажды, помнится, я встретил Мераба Мамардашвили, который вёл с Сашей такую умную философскую беседу, что мне, чтобы не показаться совсем дурачком, оставалось только помалкивать и одобрительно улыбаться. Были и другие интересные люди, всех не упомнишь. Вообще, круг Сашиних знакомств, как здесь, так и за границей, был необычайно широк. Эля рассказывала мне, что где-то в конце семидесятых уже в Лондоне они получили письмо из Тарту от Юрия Михайловича Лотмана, заканчивающееся словами:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Как я уже сказал, Саша проявлял очень живой интерес к другим людям, и эти люди (включая и меня) охотно перед ним раскрывались, рассказывая всякие детали своей жизни. В то же время о себе он рассказывал очень мало, так что я довольно смутно представлял себе его первый брак, от которого была дочка Галя, и последующие события, происходившие уже на моих глазах: уход от Тани, женитьба на Эле, — всегда были для меня некоей неожиданностью. Такой же неожиданностью было известие о том, что они собираются уезжать из страны и, по-видимому, готовятся к этому уже довольно давно. Саша сообщил мне об этом легко, как о чём-то само собой разумеющемся, как о чём-то, что я давно должен был знать или, по крайней мере, догадываться. Ничего подобного: это известие было для меня как гром среди ясного неба. Я, может быть, даже воскликнул: а как же я? А как же мы? На что он ответил с присущей ему лёгкостью: «Ну так в чём дело? Мы будем переписываться, перезваниваться, всё будет хорошо». Как бы не так! Переписываться, перезваниваться в середине семидесятых с людьми, уехавшими из страны, пусть официально, по еврейской линии, было невозможно, и он это, конечно, прекрасно знал.

И вот час расставания пришёл. Дату не помню, но помню, что это было лето 74-го. Я заехал на своей «Волге», чтобы везти их в Шереметьево. Комнаты были полупустыми, вещей с собой, насколько помню, у них тоже было немного. В квартире были какие-то молодые девушки, которых я раньше никогда не видел: то ли студентки, то ли поклонницы Александра Моисеевича, якобы пришедшие его провожать; по-моему, они все были из органов. Никакой драмы расставания не было и в помине. Саша рассуждал о какой-то книге, и впечатление было такое, будто он на пару дней уезжает на дачу, и, вернувшись, продолжит разговор. Помню, на сиденье машины валялся мой летний картузик, и Саша, натянув его на лысину, спросил, не возражаю ли я, если он в нём и поедет. Конечно, я не возражал. В Шереметьево провожать приехало ещё несколько друзей, кто именно, увы, не помню. Всё разворачивалось довольно быстро: Эля и Саша заспешили на таможенный контроль, а нам хотелось, чтобы он ещё побыл с нами, рассказал на прощание еще что-нибудь. «Так в чём дело? — воскликнул он — Сейчас мы пройдём всякие формальности, и я выйду на тот вон балкончик, и мы будем продолжать общаться». Надо сказать, что в те годы Шереметьево не было таким громадным, как сейчас, и в зале отлёта был балкончик, «капитанский мостик», куда улетавшие пассажиры могли, пройдя паспортный контроль, выйти и помахать провожавшим. Обманщик! Никуда он не вышел, ни с кем больше не общался. Может быть, уезжавшим из страны — было не разрешено, а может быть, ему просто не хотелось тянуть расставание. Так или иначе, мы разъезжались из Шереметьева с чувством, что больше никогда его не увидим.

Надо сказать, что в те годы, так же как и сейчас, постоянно обсуждался вопрос, надо уезжать (сейчас говорят «сваливать») или нет. И тогда на этот вопрос следовал всё тот же мудрый ответ, что всё, мол, зависит от конкретных обстоятельств: какой человек, чего он, в сущности, хочет, etc. Про Пятигорского можно сказать, что он был тот человек, которому уезжать было просто необходимо: здесь бы ему не дали никакого хода. И дело даже не в формальном статусе. Он говорил мне, что, в конце концов, ему, может быть, дали защитить докторскую диссертацию, но ему нужно было другое: ему нужно было свободное общение с себе подобными, возможность ездить по всему миру, общаться с теми, с кем ему хотелось общаться, находить новых единомышленников и новых инакомыслящих. В Советском Союзе ему пришлось бы ждать такой возможности по крайней мере пятнадцать лет. (Меня впервые «выпустили» на Запад в 1988-м, когда мне было 54), он не захотел ждать и был совершенно прав. По складу своему он был космополит. Это слово, полагают, первым употребил Сократ, имея в виду «гражданин мира» — человек, для которого родина — это весь мир. Конечно, родившись в России и прожив здесь сорок четыре года, Пятигорский был привязан к этой стране. И все же я не замечал в нём той формы привязанности, которая держит здесь многих: любви к русской природе. Мне случалось пару раз вывозить его за город. Один раз, помню, это был Звенигород, где Таня хотела, чтобы он что-то выяснил про летний лагерь для Ильи. Мы гуляли с ним по берегу Москвы-реки, он о чём-то с увлечением рассуждал, и мне было ясно, что течение мысли интересуется его значительно больше, чем течение реки, обрамлённой весенней листвой. Мне не случалось видеть его среди другой природы, но что-то подсказывает, что он мог сказать о ней фразу, которую я прочёл где-то у Флобера (за точность не ручаюсь, цитирую по памяти): я вышел из тебя и скоро вернусь назад, но пока я здесь, оставь меня в покое. Не было у него и фанатической привязанности к родному языку. Помню, как однажды в начале семидесятых, когда, видимо, начал обсуждаться вопрос о возможности отъезда, на вопрос Андрея Сергеева, на каком языке он собирается говорить вторую половину своей жизни, Пятигорский уверенно ответил — на английском, хотя язык этот в ту пору он знал довольно слабо. К слову сказать, Эля, которая знала язык очень хорошо, поддерживала идею отъезда, хотя у неё были свои сложные проблемы с остающимися родителями.

Итак, они уехали, и связь оборвалась, по крайней мере на шестнадцать лет. Всё, что я знал о Пятигорском, после того как проводил его в Шереметьево, были только слухи и толки. Как ни странно, сейчас я даже не могу вспомнить, в какой город они улетали. Наверно, какой-то город упоминался, но всё это была «заграница», то есть что-то лежавшее по ту сторону моей реальности. Потом я слышал разговоры, что люди, уезжавшие по еврейской линии, ехали в Вену, где происходила какая-то регистрация, после которой большинство из них отправлялось в Израиль. Говорили, что Пятигорский отказался ехать в Израиль и поехал в Лондон. Прямо ли он туда поехал или были какие-то промежуточные этапы, сказать не берусь. Я слышал голоса осуждения: что он, мол, неправильно сделал, что не поехал сначала в Израиль. Думаю, что он сам знал, куда ему ехать, и делал так, как считал нужным. В конце концов он оказался в Лондоне, где и обоживался, в чём ему содействовал его тогдашний друг Игорь Голомшток.

Он жил в Англии не потому, что там были могилы его предков, и не потому что этот язык был его родным: он жил в этой стране, потому что она ему нравилась. Ему нравились англичане с их сдержанностью, с их утончённостью, с их умением не делать проблем там, где в этом нет необходимости, и многие другие качества. Впоследствии, когда мы встретились, он рассказывал мне много историй из своей английской жизни, в которых светилась симпатия к этим людям.

Вот одна из этих историй. Декан, принимавший Пятигорского в Лондонский университет, спросил как его зовут. «Александр», — ответил тот. «А как вас зовут ваши друзья?» — спросил декан. «Саша». Затем, представляя его преподавательскому составу, декан сказал: «Вот это наш новый профессор — Александр Пятигорский. Друзья зовут его Саша». Думаю, что в Англии было много людей, которые звали его Саша.

Страна эта не всегда смотрела на него с улыбкой, было и другое. Однажды, ступая на проезжую часть улицы, он по московской привычке посмотрел налево. Его сбила машина, и, видимо, довольно серьёзно. «Меня собирали по частям», — сказал он мне, и по его лицу было видно, что это были тяжёлые воспоминания. Впрочем, «собрали» его, видимо, очень квалифицированно, потому что никаких травм заметно не было.

Но это я забежал вперёд, а возвращаясь к его отъезду, как уже сказал, несколько лет мне ничего про него известно не было, и я не думал, что когда-нибудь его увижу, так же как не думал, что сам когда-нибудь увижу Лондон и Париж, Венецию и Рим.

Всё переменялось с горбачёвской перестройкой, с той бескровной революцией, которую он совершил, переместив нас в общество с возможностями, о которых многие уже перестали мечтать. И вот в ноябре 1988 года я в Средиземноморском круизе на пароходе «Лев Толстой». Мы вышли из Одессы, прошли сквозь Босфор и Дарданеллы (мог ли я о таком мечтать!), и первой нашей стоянкой на суше был греческий порт Пирей. На автобусах нас отвезли в Афины, прямо в какое-то кафе, где посадили за столики, разрешили заказать небольшую выпивку (это был джин с тоником) и закуску, и устроили шоу для туристов. А надо сказать, что к этому времени я уже познакомился с некоторыми участниками нашего пароходного круиза. И вот с одной супружеской парой, которая была значительно моложе меня, мы решили выйти из кафе, чтобы подышать свежим воздухом. Мы начали дефилировать по переулку втроём, не нарушая инструкцию, которую нам дали перед поездкой: «нельзя ходить по одному, только вдвоём, а лучше втроём». В какой-то момент моим спутникам зачем-то понадобилось вернуться в кафе, и я остался один. Не задумываясь, сворачиваю за угол, потом ещё, ещё раз и понимаю: всё, меня уже никто здесь не найдёт, я на свободе! Впервые за пятьдесят четыре года! Помню то дивное ощущение, которое пережил. Я присел на какой-то низенький заборчик, стояла полная луна, вокруг мерцали Афины, а я был на свободе... Потом я вернулся в назначенное место сбора к автобусам, но вернулся уже, как говорится, другим человеком. Читатель простит мне это отступление — оно не имеет непосредственного отношения к Пятигорскому, но без него не было бы последующих встреч в Лондоне, не было бы его приезда в Москву и вообще всё было бы совсем по-другому.

В следующем за круизом, 1989 году я, конечно, «рванул» в Париж, а в 1990-м — в Лондон. Телефон у меня откуда-то был, я позвонил и услышал: «Speaking» «Здравствуйте милый Саша, — сказал я, — это Володя Скребницкий. Я в Лондоне». «O mon dieu! O mon bon dieu!» — услышал я в ответ.

На следующий день мы встретились во дворе Лондонского университета. Наверно, здесь было бы уместно что-нибудь сказать о том как он изменился внешне за те шестнадцать лет, что мы не виделись, и он, конечно, как-то изменился, но как это передать? Сказать «возмужал» про человека шестидесяти с чем-то лет, наверно, неуместно; сказать «заматерел» как-то грубо, хотя какая-то «матёрость» в нём появилась, во всяком случае, он показался мне ещё более крупным и значительно более серьёзным, чем раньше. К сожалению, не почувствовал я в нём той лёгкости и игривости, которые придавали ему такой шарм в предотъездные годы. Хотя игривость, конечно, была и проявилась в том вопросе, который

он мне задал, после того как обозначил, что мы едем к нему домой в Луишем (юго-восточный район Лондона), где нас ждёт Эля и ещё какие-то друзья. «Первый и главный вопрос, мой дорогой, что вы будете пить?» Вот уж это меня интересовало меньше всего, но, памятуя свой опыт в афинской таверне, я важно сказал: «Джин с тоником». «Вы знаете, — услышал я в ответ, — что я, как всегда, пью только водку». Ничего этого я не знал, но возражать не стал, и мы направились к Charing Cross railway station, чтобы ехать в Луишем, где в его доме нас действительно ждала Эля, которая, по-моему, внешне мало изменилась за эти годы, и ещё какие-то их друзья. Они сразу накинулись на меня с вопросами о том, как сейчас живут люди в Союзе. Сколько получают? Какие перспективы перестройки? И так далее. Я ничего толком сказать не мог, в ответах на эти вопросы плавал и знал твёрдо только одно: «меня, наконец, выпустили», а про всё остальное, к стыду своему, имел довольно смутное представление. Так я и плавал до того момента, когда Эля сказала: «Да оставьте вы его в покое, видите, он же не по этой части». Это, пожалуй, всё, что я об этой первой встрече помню. Да, ещё помню, что мне таки дали джин с тоником, который в Афинах оказался «напитком свободы», а сейчас оказался довольно безвкусным.

В этот мой первый приезд в Лондон мы ещё несколько раз встречались с Сашей, гуляли по Charing Cross Road, я провожал его на станцию, мы беседовали о разных вещах, и казалось, что ничего в наших отношениях не изменилось. Но это было, увы, не так: былой близости между нами уже не было. Мне не понравились излишняя категоричность его суждений, резкие негативные высказывания о людях, которые, по-моему, того не заслуживали, о книгах, которые мне нравились (я тогда не знал, что он сам пишет книгу и, как многие пишущие, считает ерундой всё, что пишут и публикуют другие), и даже высокомерие, которого раньше никогда в нём не замечал. Впрочем, должен оговориться, что в «московский период» встречался с ним часто и знал его довольно хорошо, а лондонские встречи были немногочисленны, так что мои впечатления могли быть поверхностными.

В 1993 году он появился на московских экранах в образе махараджи в фильме Иоселиани «Охота на бабочек». Это было сенсацией! Многие ходили на фильм, прослышав, что там играет Пятигорский. Роль эта, по-моему, очень ему шла: в начале этого рассказа я уже упомянул, что при первом знакомстве мне почудилось в его лице что-то индусское. И здесь снова из-под чалмы я видел знакомое лицо и глаза, которые лукаво глядели в разные стороны. Он гарцевал на коне. Вот уж чего никогда не ожидал! И был прав: он сломал ногу. «Вы же понимаете, милый Володя, — сказал он мне при очередной встрече в Лондоне, — какой из меня наездник». Наездник, видимо, был неважный, но махараджа выглядел очень выразительно.

Саша был чадолюбив: от трёх жён у него было пять детей, которых он собрал под английским небом. К сожалению, я знал только двух мальчиков от Тани, о которых уже упоминал. Знаю, что от Эли были две девочки. Старшая — Вероника пошла, видимо, по литературно-филологической стезе, поскольку какое-то время училась в Даремском университете у моей старинной приятельницы Аврил Пайман, написавшей замечательную книгу о Блоке «Ангел и камень»; Аврил долго жила в Советском Союзе со своим мужем художником Кириллом Соколовым, и все её знали здесь как Дики. О другой девочке, увы, не знаю ничего.

В один из своих приездов в Лондон я не застал Пятигорского в Англии, и так как гостиница была у меня заказана только со следующего дня, воспользовался гостеприимством его сына Ильи, который жил тоже в Луишеме, в комнатке над, если не ошибаюсь, бакалейной лавкой. Кажется, в этот приезд я узнал, что Саша

ушёл от Эли и собирается жениться на Людмиле Стоковской — подруге его старшей дочери Гали. Не помню, познакомил ли он меня с ней в Лондоне или наша встреча произошла уже в Москве, о чём я сейчас и собираюсь рассказать.

В то время я вёл дневник, поэтому последовательность событий могу воспроизвести довольно точно. 28 августа 2001- года у меня дома раздался звонок, говорила Людмила, потом трубку взял и Саша: они собирались приехать в Москву и хотели, чтобы в этот их первый приезд я их встретил. Конечно, я был готов.

И вот, двадцати семи лет как не бывало: я снова стою в Шереметьеве, только теперь не в зале отлёта, а в зале прилёта, и жду, когда появится человек, которого я когда-то провожал в никуда и навсегда. Самолёт прилетел в 20.20, так что, когда мы встретились, было уже темно. Помню, мне бросилось в глаза, что Саша постарел и сильно прихрамывает. Мы погрузились в машину, вещей у них было совсем немного: они приехали ненадолго и собирались остановиться у Сашиного друга, историка и искусствоведа Юрия Овсянникова, к которому я их и повёз. Меня снова поразила Сашина манера вести разговор: в отличие от большинства людей, которых мне случалось встречать, он не ахал по поводу того, как изменилась Москва, не удивлялся тому, чего тут только не понастроили, а как будто продолжал разговор, который мы прервали час тому назад. И снова я слышал «милый Володя», снова видел его лукавое улыбающееся лицо с глазами, глядящими немного в разные стороны.

Когда мы приехали (адреса не помню), Саша настоял, чтобы я зашёл познакомиться с хозяином, что я и сделал. Юрий Максимилианович был в ту пору уже сильно нездоров, так что я постарался быстро откланяться, договорившись, что на днях мы созвонимся и повидаемся.

Так оно и было: четвёртого сентября я позвонил и заехал за ними. Это был серый дождливый день, не располагающий к прогулкам. Саше хотелось показать Людмиле, как выглядит Новодевичий монастырь с другого берега пруда. Нам повезло: когда мы подъехали к монастырю, дождь прекратился, небо разъяснилось, и мы полюбовались на эту сказку наяву, которая всегда стоит у меня перед глазами, в какой бы части света я ни находился.

Потом мы поехали по Краснопресненской набережной ко мне на улицу Черняховского и ритуально посидели на кухне. Саша был в хорошем настроении, рассказывал Людмиле про мои романтические похождения, которые я когда-то поверял ему на этой же самой кухне. Мы с ним погружались в молодые годы и были веселы и беззаботны. Он подарил мне свою недавно вышедшую книгу «Рассказы и сны», надписав её в свойственной ему несколько витиеватой и многозначительной манере «Моему дорогому другу Володе — как бы оно ни было, пусть останется кем есть. Саша 6.09.2001». Я отвёз их домой. Он обещал позвонить мне в ближайшее время... но не позвонил. Больше я с ним никогда не встречался.

Я прочёл, что Юрий Максимилианович Овсянников умер в 2001 году, то есть вскоре после того, как Саша и Людмила к нему приехали. Были ли они на его похоронах или раньше улетели в Лондон? Не знаю.

Впоследствии Пятигорский стал часто приезжать в Москву. Его подхватили СМИ, он стал героем телеэкрана. СМИ отвели ему определённую роль: восточный мудрец, гуру, известный российский специалист по буддизму, который последние тридцать лет живёт в Англии.

Как важно вовремя уехать! Я особенно хорошо это знаю по научной среде, в которой вращаюсь уже почти шесть десятилетий. Если ты вовремя уехал и сделал на Западе какое-то имя, то сейчас ты желанный гость: пожалуйста, Сколково, Мегагрант, побудьте с нами хоть недолго, хоть три месяца! Но если ты никуда не

уехал, а остался жить здесь — картина порой бывает совсем другой: институт второй категории, где твои международные публикации? Какой у тебя индекс Хирша?! На пенсию.

Это к Пятигорскому не имеет никакого отношения: он действительно был выдающийся человек, и ему только воздавали должное... но если бы он не уехал...

Поскольку известно, что я не большой поклонник телевизора, то время от времени знакомые звонили мне и говорили: включай телевизор, там твой Пятигорский. Я включал и смотрел с каким-то двойственным чувством. С одной стороны, мне всегда приятно было видеть моего друга, с другой стороны, манера, в которой он участвовал в разных телевизионных дискуссиях, казалась мне излишне артистичной и ненатуральной: он вскакивал, обильно жестикулировал, высказывал какие то парадоксальные суждения, которые в былые годы, на Малой Филёвской, были вполне уместными, а сейчас — казались странными. В то же время, покопавшись в интернете, я находил его интервью, выдержанные совсем в другом тоне: он очень интересно рассказывал о своём учителе — Юрии Николаевиче Рерихе, просто и спокойно рассуждал о духовной свободе и свойствах русской души... И всё же многих людей, не знавших его до отъезда из страны, раздражала его манера, и образ его, увы, не казался им привлекательным.

Но я не хочу педалировать эту тему и предпочитаю поговорить о другом. Пятигорский написал несколько книг, но особенно замечательной мне представляется последняя, вышедшая в 1999 году в издательстве НЛО и посвящённая Людмиле Стоковской. Это книга — «Вспомнишь странного человека...». Её главный герой — Михаил Иванович Терещенко — русский предприниматель, банкир, издатель журнала «Сирин», известный меценат, министр иностранных дел Временного правительства, впоследствии эмигрант, живший в Англии. В жизнь Пятигорского он вошёл через разговор, случайно услышанный в подмосковной электричке ранней весной 1945 года. Затем их судьбы стали всё больше переплетаться; вернее даже не их судьбы, а люди, которые могли их связывать, всё больше вплетаться в жизнь Пятигорского (не без инициативы последнего), так что образ Михаила Ивановича (фамилия ни разу не упоминается в книге) стал всё больше выкристаллизовываться. Почему Пятигорского так заинтересовала судьба этого человека? Конечно, судьба эта была по-своему замечательной: до революции Терещенко был одним из богатейших людей России, в 1910–1913-х годах, в период своего меценатства, он был близким другом Блока, в его журнале «Сирин» печатались такие писатели, как Розанов и Ремизов. После Февральской революции он вошёл во Временное правительство сначала как министр финансов, а затем как министр иностранных дел. Был арестован большевиками и вместе с другими членами Временного правительства заключён в Петропавловскую крепость, как-то фантастически ушёл из этой крепости (Пятигорский рассказывает о том, как это произошло) и уехал в Англию. Там он оказался без копейки, поскольку большевики, естественно, конфисковали всё его имущество, но, благодаря своим необычайным финансовым способностям, быстро снова сколотил большое состояние. То есть это был человек, который умел легко приобретать, легко терять и, как советует какое-то французское изречение, ко всему относиться серьёзно, и ни к чему — трагически. Но не это главное.

В разговоре, случайно услышанном в электричке ранней весной 1945 года, Михаил Иванович был назван рыцарем, в противоположность другому персонажу, про которого было сказано, что он предатель. Из дальнейшего текста выясняется, что Михаил Иванович был действительно рыцарем, давшим в молодости клятву верности идеалам добра и не нарушившим эту клятву до конца жизни. Где-то весной 1911 года он создал в Петербурге розенкрейцеровское

общество, в которое посвятил ряд своих друзей. Это посвящение сопровождалось Розенкрейцеровским Ритуалом, которому Михаил Иванович придавал большое значение. И когда Блок в 1913-м принёс ему свою пьесу «Роза и Крест», он и не подозревал, что Терещенко и есть рыцарь Розы и Креста, и эта пьеса, по существу, про него.

Михаил Иванович был космополит, ему было всё равно где жить: в Москве, Париже, Ницце или Монако, но предпочитал он Лондон. Я не осмелюсь сказать, что Пятигорский видел в нём (или хотел видеть) своё alter ego, но несомненно, что между этими двумя людьми была некая метафизическая связь.

В начале книги есть очаровательная фраза: «Я родился с привычкой врать». Конечно, ему виднее, но всё же, зная его достаточно долго в предотъездный период, я бы с этим утверждением поспорил. Обманывать — да! Тут не поспоришь. Эля говорила мне, что Саша устроен не как другие люди. Обычно человек планирует свой день, скажем: в 10 делаю то-то, в 12 встречаюсь с тем-то, кому обещал, в 14 звоню тому-то и т. д. Саша был абсолютно спонтанен: он увлекался тем разговором или тем общением, которое случалось первым, и тратил на него столько времени, сколько было нужно, а всё остальное — как получится. Сколько раз я слышал от него: «Дорогой мой, я позвоню вам в четыре, нет, чтобы быть абсолютно точным, я позвоню в десять минут пятого» (как все необязательные люди, он старался, наверно вполне искренно, к особой пунктуальности)... Ни в десять минут пятого, ни в десять минут шестого, ни в семь, ни вообще в этот день — никаких звонков. Встретив его через несколько дней, я слышал: «Ах, милый Володя, ведь я, кажется, обещал вам тогда позвонить. Простите, я так замотался, бла, бла, бла» Повторяю: обманывал — да, бывал необязательным — да. (Кстати, Англия была в этом отношении для него благоприятной средой, так как известно, что обязательность — это не главное качество англичан.) Лицедействовал, порой выдумывал что-то — это всё было. Но вранья я от него никогда не слышал. Может быть, он врал женщинам? Но с этим уже что поделаешь.

В этом году ему бы исполнилось девяносто. Говорят, что ничто так не старит, как возраст. И сейчас он, наверно, не смог бы ходить своим размашистым шагом перед притихшей аудиторией, останавливаясь, чтобы произнести что-то особо значительное, обильно при этом жестикулируя... Но я уверен, что глаза по-прежнему смотрели бы немного в разные стороны лукаво и насмешливо. Так вспомним обаятельного человека!